**ВИДЕНИЕ**

Мы отдыхали – лежали на пригорке в тени столетней плакучей березы, курили и поглядывали на развалины деревенской церкви. Стояла самая середина лета, южный ветер нес с цветущих лугов сладкую пыль, и все время, не переставая, однообразно шумела над головой могучая крона. Я поднял голову, солнце пылало почти в зените, а необозримая синева неба была настолько густой и глубокой, что казалась нездешней, тропической. «Господи, хорошо-то как», – подумал я, оглядываясь кругом. Недалеко от развалин, ближе к реке, обосновалась крохотная пасека – пяток ульев, разбросанных среди старых яблонь, – а чуть дальше омшаник и домишко старика, угощавшего давеча нас медом. Поставил на пенек перед избой эмалированный таз, где вместе с тягучим нектаром плавали кирпичные обломки сот, а рядом ведро ледяной воды из колодца. И, усмехнувшись, сказал:

– Без ей никак нельзя, а так в аккурат будет.

– Что ж, дед, не скучно здесь одному на отшибе?

– А на кой она мне, деревня-то. Чего я там не видал?

– Да ведь как, сосватал бы старушку – все, глядишь, не один.

– А на кой она мне, старушка-то. Чего мне с ей делать? Мне теперь, окромя собаки да кошки, никого не надо, привык.

Еще дальше за пасекой, за песчаным обрывом реки, источенным раковинами птичьих гнезд, на многие километры тянулись леса, фиолетовым обручем стягивая горизонт, и вся картина, исполненная неги, чистоты и покоя, будила мысли о временах старозаветных, загадочных…

– Когда я смотрю на эти руины, мне хочется выть от отчаяния, – сказал один из нас, художник с ястребиным носом, с бледно-голубыми пронзительными глазами. Он встал на колени, сложил на груди мускулистые руки и некоторое время стоял так, с торжественной строгостью глядя перед собой. Потом театрально закончил: – Не задумываясь, отдам обе ноги и левую руку за возможность воочию видеть допетровскую Русь. Эх, не в свое время родился я, не в свое.

– Присоединяюсь! – поворачиваясь на бок, заявил поэт – молодой человек с деланно мрачным, бородатым лицом дровосека. – Я тоже чужой на этой мусорной свалке, где давно не осталось ничего святого. Даже вера в Бога вырождается непонятно во что. Увы, поэт был прав – все тонет в фарисействе.

– Да при чем здесь вера, – с досадой возразил художник. – Дело не в вере, а в верующих, люди теперь стали не те. Они не верят в чудеса, в жизнь после смерти… то есть, может, они и хотят, да не могут, не получается. Вот вам набросок с натуры. Был я как-то под Рождество в нашем Успенском соборе, стоял, слушал пение хора и вдруг вижу: входит парень лет семнадцати, и, по тому, как робко приближается к небольшой группе верующих у амвона, понимаю, что в церкви он в первый раз. Подошел, остановился недалеко от меня и замер с расширенными глазами, пораженный всем этим внутренним великолепием убранства, торжественностью и чистотой голосов, плывущих с хоров под сводами церкви. Одного он не сделал – не снял по незнанию шапки. Тут же к нему подбегает гнутая старуха в черном – из тех, что шатаются там с утра до вечера, – подбегает и с силой срывает с него шапку. И столько было в змеиных глазах ее холода, когда она прошипела: «нехристь несчастный», что мне стало не по себе. Лицо парнишки побледнело, а от испуга и растерянности на глазах его выступили слезы. Он забрал у нее шапку, опустил голову и торопливо направился к выходу. Какие, скажите, понятия могла внушить ему о вере эта карга с ее казарменными ухватками? А ведь именно она в ту минуту являлась для него олицетворением православного человека. Какие уж тут чудеса, какое тут, к черту, бессмертие.

Пока художник предавался воспоминаниям, а поэт мрачно вторил ему, наш четвертый приятель, до сих пор не проронивший ни слова, сидел у березы и пил из термоса квас. О нем следует сказать особо, поскольку, собственно, благодаря ему и ведется этот рассказ. Он приходился художнику шурином, был значительно старше нас и слыл мужчиной сугубо практическим, с успехом занимался коммерцией и другими серьезными делами, а нрав имел суховатый, несколько замкнутый, при всем этом оставаясь человеком добрым и искренним. Звали его Иваном Романовичем. Ростом он был невелик, туловищем коренаст, с большой головой и коротким, побитым сединой волосом. Он носил выпуклые дымчатые очки в золотой оправе, а лицо его было самое обыкновенное –
широкое спокойное лицо учителя сельской школы. За последний месяц он уже дважды выезжал с нами на природу и, судя по нему, остался, вполне доволен. Когда художник умолк, Иван Романович поставил термос между колен, снял очки и, сдвинув брови, многозначительно произнес:

– Все это очень неприятно, я имею в виду выходку той фанатичной старушки, но не так уж и страшно. Куда неприятней нынешнее поголовное лицедейство, когда, к примеру, разодетые в пух и прах барышни являются в церковь, как в театр, из желания не столько увидеть спектакль, сколько принять в нем участие. Невероятно, но факт: на церковь повальная мода. Сколько раз я наблюдал, как появляются там эти новообращенные грешницы, демонстрируя публике дорогие меха и сногсшибательные драгоценности. И все это с притворным смирением, с лживой скорбью лица. Быть такой грешницей – необычайно модно.
Я, разумеется, не против мехов и прочего, отнюдь нет, но церковь, повторяю, не театр, и выглядеть тут нужно скромнее.

– Согласен. Для меня скромность – синоним смирения, – проговорил в задумчивости художник.

– Но всего печальнее то, – еще многозначительнее сказал Иван Романович, – что и церковь нынешнюю все это, похоже, устраивает. И фанатичные старушки в облике надзирателей, и святая вода прихожанам напрямую из грязной бойлерной, и лицемерные господа, для которых служители божьи готовы теперь на многое – не только освятить новый комфортабельный бордель в центре города, но как в той сказке, помните? Заплатил мужик попу как следует, так он издохшую собаку отпел в царствие небесное. Все повторяется, молодые люди, но с той лишь
разницей, что батюшка современный куда бессовестней своего туповатого предшественника – анекдотического пьяницы и любодея.

– Но женщина, всегда останется женщиной, даже в церкви, – с усмешкой заметил поэт. – Это у них в крови.

– А теперь относительно чудес, – снова заговорил Иван Романович, но неожиданно замолчал, задумался, покусывая стебелек одуванчика. Поэт не выдержал:

– Вы, кажется, сказали – чудес. Каких чудес, Иван Романович?

Иван Романович поправил очки и смущенно ответил:

– Самых настоящих, конечно. Но, может быть, вам неинтересно?

Мы немедленно возразили и приготовились слушать.

– Имейте в виду, рассказчик я никудышный, но уверяю вас, все случившееся со мной истинная правда, и до сегодняшнего дня никто об этом не знал, за исключением моей супруги. Эта маленькая тайна много лет согревает мне душу. Мне всегда казалось, если я сообщу о ней, во-первых, мне не поверят, а во-вторых, все чары развеются, и я лишусь своего бесценного подарка, обладателем которого так неожиданно стал. Но сегодня, слушая вас и глядя на развалины церкви, я вдруг подумал: пусть люди знают, что чудеса бывают не только в библейских писаниях... Тут среди нас находится писатель, – добавил он, указывая на меня, – и если он напишет правдивый рассказ, отчасти похожий на сказку, я буду искренне рад, потому как уверен – правда всегда отыщет путь к сердцу читателя.

– Возьмусь с удовольствием, – сказал я, польщенный доверием. – Но с одним условием.

– Каким же?

– Чтобы правда выглядела правдоподобно, ваша история будет изложена от первого лица, но языком автора, то есть моим.

– Согласен, – улыбнулся Иван Романович. – Но и меня есть условие. Прежде чем рассказ будет опубликован, вы прочтете его всей нашей компании. И случится это у меня дома за бутылкой хорошего вина.

Он пустил термос по кругу и, когда мы с удовольствием напились, неторопливо начал:

– Случилась эта необычная история лет тридцать назад, в те времена, когда я работал в одной торговой конторе и попутно оканчивал заочное отделение Плехановского института. Мать моя, женщина глубоко верующая, окрестила меня, а позже и сестру в самом раннем детстве, так что, сколько я себя помню, верить в Бога для меня было так же естественно, как, например, дышать или пить воду. Я никогда особенно не задумывался, не философствовал на тему: что такое есть вера в Бога и сам Бог, просто верил, и все, но без фанатичного подобострастия, оно всегда мне претило. Отец, партийный чиновник, человек холодный и молчаливый, занимал в нашем городе ответственный пост, но и он, как я позже узнал, был крещеным и верующим. Конечно, в школе, а потом и на работе не догадывались, что я посещаю церковь, читаю Библию и по возможности соблюдаю пост. В школе меня засмеяли бы, а на работе смотрели бы как на реликт, выброшенный морем на сушу. Такая перспектива меня не устраивала. Я знал, что быть не таким, как все, в нашем обществе крайне обременительно, и потому старался не выделяться, правда, в силу характера был необщителен, не принимал участия в коллективных дискуссиях на службе, но это только играло мне на руку – начальство не любит болтливых. И все-таки человеком я слыл себе на уме, а некоторые до сих пор видят в моей замкнутости либо корыстолюбивый расчет, либо самое обыкновенное бездушие. Бог с ними, я не в обиде. Я и в самом деле никогда не имел близких друзей, как-то уж так получилось, а все мои знакомства не выходят за рамки практического, делового свойства. Нелегко я сходился и с женщинами. Не то чтобы я бежал их общества, нет, но в большинстве своем они казались мне существами пустыми, болтливыми, мысли и желания их были примитивны, а поведение отличалось жаждой игры, самолюбования и позы. Не отрицаю, я идеализировал женщину, вероятно, поэтому и женился так поздно. Но встретил я именно ту, о которой мечтал, и опять-таки не без божьей помощи. А пришла эта помощь очень естественно и на первый взгляд совершенно случайно, поскольку знакомство наше состоялось в церкви, сразу по окончании службы. Мы оказались рядом, шли рука об руку к выходу, и когда вышли на обледенелую паперть, я осторожно поддержал ее за локоть, а она улыбнулась и благодарно кивнула. Да, именно так все и было…

Думаю, церковь и явилась связующим звеном между мной и теми странными событиями, что последовали вскоре за ее посещением. Нет, я говорю не о том дне, когда познакомился с Ириной, а о более раннем времени. В тот год я уехал в Москву на сессию, недурно выдержал экзамены и решил позволить себе вполне заслуженный отдых. Я поехал в Рославль, старинный провинциальный город километрах в трехстах от Москвы, где жила моя тетя, и там у нее, в просторном бревенчатом доме с беседкой в яблоневом саду, провел две чудесные и самые спокойные в моей жизни недели. Сад был старый, запущенный, по ночам в нем пел соловей, а днем среди яркой зелени переливалась на солнце паутина и на цветах по-хозяйски гудели шмели. Последний раз я был у тетки еще школьником, и все-таки по приезде сразу отметил, как мало она изменилась – разве что сизым стал румянец на скулах да еще уплотнилось короткое, полногрудое тело, еще тоньше и суше стали ноги, обутые в мягкие тапки без задников. Ко мне она относилась по-старушечьи ласково, но без умиления, не суетилась без толку, словом, предоставила меня самому себе, занимаясь в основном тем, что утром готовила завтрак и до обеда уходила к соседке, где за разговорами они выпивали бутылочку вина, а после сидели у калитки, покуривая папиросы. Их роднило не только то, что обе в войну потеряли мужей, но и то, что после войны они так и не вышли замуж, при этом не особенно оберегая вдовье целомудрие, которое так любили обсасывать писатели и драматурги советского времени. Но это я так, между прочим. К обеду она возвращалась, собирала на стол и часа на два ложилась вздремнуть, а после опять уходила до вечера. Таким образом, повторяю, я был предоставлен самому себе, и не скажу, что вынужденное одиночество доставляло мне огорчение, более того, оно действовало почти наркотически. С тихой беспричинной радостью, а может, со сладкой печалью бродил я по зеленым улицам древнего города, смотрел на крепкие старинные дома, на их степенных владельцев, в большинстве своем пожилых и хозяйственных, шел мощенной булыжником улицей мимо красного кирпичного здания, где когда-то размещалась немецкая комендатура, и почти не встречал машин – лишь изредка мотоцикл или полупустой автобус нарушали своим рокотом этот патриархальный покой. И в таком вот счастливом однообразии прошли почти две недели. Незадолго перед отъездом, тем памятным воскресным днем, я отправился в церковь, трехглавый храм, сквозивший пролетами пустой колокольни, отстоял обедню и, подходя ко кресту, обратил внимание на то,
как пристально посмотрел на меня седобородый священник, должно быть, удивленный моей молодостью. И в самом деле, хотя людей собралось порядочно, все они были не первой молодости, а проще сказать, старики. Я вернулся домой, спать лег раньше обычного, и приснился мне удивительный сон: я стою внутри церковного двора, а вокруг полным-полно празднично одетых ребятишек, ну просто как в детском саду. И все они что-нибудь держат в руках, кто кулич, кто пряник или конфету. В изумлении я огляделся, и у самой ограды, в отдалении от других, увидел мальчика лет семи, одетого в белую рубашку и черные брючки, который не мигая смотрел на меня, а потом сдвинулся и медленно пошел навстречу. И я тоже пошел к нему, почему-то спеша и волнуясь. Когда мы поравнялись, я присел и взял его за руки.

– А у тебя почему нет ни булки, ни коржика? – спросил я его.

– Не принесли, – ответил он тихо, – уже давно не приносят. Только вот это, – он разжал пальцы, и я увидел на ладони несколько двадцатикопеечных монет. Я сжал его локти.

– Как же так, почему?

– Потому что здесь у меня никого не осталось.

– А где же они?

– Мама и папа живут в вашем городе, – сказал он, вздохнув, – а бабушка умерла еще раньше.

– Понятно. А как же тебя звать-величать?

– Сережа.

– Так. И что же я должен делать, Сережа? – спросил я, поражаясь своему спокойствию и рассудительности.

– Как приедете, зайдите на улицу Степную, номер двенадцать и передайте, что я жду. Я и нынче их ждал в родительский день, да только они не приехали...

– Скажу, родной, обязательно скажу. – И я поднялся, держа его за руку.

– Ну, мне пора, – сказал он, указывая на распахнутые ворота церкви, куда гурьбой устремились дети. Я проводил его до входа, за которым не было ничего, кроме могильного мрака, и напоследок спросил:

– Ты сказал, Степная двенадцать, а номер квартиры?

– Это частный дом. Там почти все дома частные, вы должны знать об этом.

– Извини, запамятовал.

– Это вы меня извините, – сказал он и бросил взгляд на мрачно темнеющий вход. – Прощайте, спасибо за вашу доброту. И за веру. Но знайте, здесь все не так, как вы думаете, дядя Иван.

– А как же здесь? Как? – спросил я, испытывая сильную душевную муку.

– Я и сам не все понимаю, я ведь маленький, – ответил он и снова вздохнул. – Прощайте. И не спешите жить, живите подольше.

Я сказал – сон. Нет, конечно, не сон, а самое настоящее видение, поскольку не только лицо его, но и многие лица детей я до сих пор помню так ярко и отчетливо, что, будь я художником, давно написал бы их.

– Невероятно, – еле слышно сказал поэт, закрывая глаза.

– Да-да! Говорю вам – истинно так! – разволновавшись до красноты ушей, настойчиво продолжал Иван Романович. – Утром я записал адрес в блокнот, хотя, собственно, и записывать-то не имело смысла, он отпечатался в моей голове навеки. Спустя два дня я вылетел из Москвы домой и по прибытии, ближе к вечеру, отправился на Степную. Был это старый, похожий на деревню район на окраине города, где многие семьи в то время еще держали домашний скот, а кривые улицы с деревянными тротуарами и заглохшими колеями замысловато петляли, оканчиваясь то тупиком, то переулком, этакой щелью между заборами, настолько тесной, что двум встретившимся прохожим, разойтись там было довольно сложно. Не без труда разыскал я в этом хаосе нужный адрес и, признаюсь, не без трепета надавил на щеколду и вошел во двор. Что ж, дом как дом, небольшой, бревенчатый, рядом баня и нечто похожее на стайку. Двор чистый, поросший кудрявой травой с песчаными залысинами, с натянутыми поперек бельевыми веревками. Все это я разглядел, пока топтался у крыльца, не решаясь войти в открытые двери сеней, в то время как в доме (я услышал отчетливо) напряженный женский голос затянул колыбельный мотив.

«Э, да у них маленький ребенок», – подумал я и решил подождать, присел на ступеньку крыльца, размышляя о сложности предстоящего разговора, ни минуты, впрочем, не сомневаясь в правдивости своего видения. Да, с того самого мгновения в Рославле, когда я проснулся и записал адрес, я уже твердо знал, я был уверен, что все случившееся со мной неспроста, что волею судьбы я оказался жителем города, куда за тысячу верст переселились родители мальчика, и я обязан выполнить его просьбу. Одного я не знал: как повести разговор, не рискуя прослыть сумасшедшим. Немного погодя пение прекратилось, а через минуту в глубине сеней мягко хлопнула дверь, ударил сквозняк и заскрипели крашеные половицы,… я быстро поднялся. Передо мной с вопросительно поднятыми бровями и ворохом ползунков в руках стояла невысокая смуглая женщина в пестром ситцевом платье, несколько полная, черноволосая, черноглазая, с синеватым пушком вдоль щек и над верхней губой. И тут меня одолели сомнения. Мальчик, явившийся мне той ночью, не имел с ней ни малейшего сходства. Он был типичный славянин, русые волосы, голубые глаза, а здесь чувствовалось присутствие совсем иной крови. Мысли мои смешались, я потерялся и вместо того чтобы хоть что-то сказать, только тупо смотрел на нее, между тем как пауза все затягивалась. Наконец, женщина нашлась, она с вежливой усмешкой спросила:

– Почему вы так на меня смотрите? Мне кажется, я вас не знаю.

– Не знаете, – подтвердил я, выходя из оцепенения. И тут же, не сходя с места, решил покончить со всеми недоразумениями. – Скажите, вы жили когда-нибудь в Рославле? – сказал я, переставая дышать.

– О! – воскликнула она удивленно. – Конечно, жили. Я же родом оттуда. Но как вы узнали? Мы уехали из Рославля пять лет назад.

– Все ясно, все ясно, – забормотал я, бесцельно шаря по карманам.

– То есть что значит – ясно? – спросила она в замешательстве. –
И как вы разыскали наш дом? В Рославле у нас никого не осталось.

Я сел на ступеньку и, глядя снизу вверх в ее тревожные глаза, не-
громко сказал:

– Почему не осталось... А на кладбище?

Она выронила из рук ползунки и, прикрыв ладонями рот, стала пятиться, пока не уперлась в косяк.

– Кто вы? Что вам нужно? – сказала она испуганным шепотом.

– Скажите, у вас был сын Сережа? – спросил я как можно спокойней.

– Боже! – прошептала она. – Конечно, был. Он умер шесть лет назад и похоронен на городском кладбище… Но, ради бога, ответьте, наконец, – кто вы такой и что все это значит?

– Сейчас объясню. Только не пугайтесь, а постарайтесь понять и, главное, поверить в то, что я расскажу.

И я рассказал ей все до мельчайших подробностей. Закончил я приблизительно так:

– Он просил передать, что ждал вас в родительский день, ждет и сейчас, и вообще, как я понял, будет рад вам в любое время. Красивый мальчик. Только уж слишком печальным он выглядел там, среди сверстников.

– Просил передать… – повторила она и побледнела той пепельной бледностью, что бывает обычно у смуглых. Потом села рядом со мной на ступеньку.

– Да, все правильно, – с горечью прошептала она. – Я иногда подаю нищим мелочь, прошу помянуть Сережу… вот и нынче в родительский день подала. Но адрес... Он что же, и адрес вам дал?

– Он и дал, а иначе как бы я вас разыскал?

Она вдруг жалко улыбнулась, и губы ее задрожали. Страдальчески глядя на меня, она забормотала умоляющим голосом:

– Ну, пожалуйста… прошу вас, не мучьте меня! Для чего вы все это придумали? Что я сделала, чтобы так страшно шутить надо мной?

Я взял ее за руку.

– Успокойтесь, я редко шучу. А уж тем более на подобные темы.

– Да что же это такое, Господи!

– Между прочим, могу сказать еще кое-что. На его правом виске я заметил небольшой шрам. Вы случайно не знаете о его происхождении?

Она с ужасом взглянула на меня и безвольно опустила голову.

– Как мне не знать, шрам и был причиной его смерти. Мы возвращались из магазина, когда его сбил самосвал. Была зима, гололед... Он ударился виском о ледышку и умер по дороге в больницу. У меня на руках. Так, знаете, вытянулся и тут же стал холодеть...

Она оперлась о половицу ладонью, хотела встать, но неожиданно положила голову на мое плечо и расплакалась. Потом поднялась и сказала, икнув:

– Идемте, я покажу его фотографии.

– Мы разбудим ребенка, принесите-ка лучше сюда.

– Как хотите, – сказала она покорно, ушла в дом и скоро вернулась с большим альбомом в красном плюшевом переплете. Несколько первых страниц занимали фотографии Сережи (я сразу узнал его) начиная с рождения и заканчивая последней, снятой в детском саду у песочницы, где он стоит, поджав губы, одетый в матроску и вытянув руки по швам. Она предложила мне взять фотографию, но я отказался, объяснив тем, что в моей памяти мальчик навсегда останется таким, каким я увидел его на церковном дворе.

– Я понимаю, я понимаю, – ответила она, думая, однако, о чем-то своем, сокровенном. И тут до меня дошло: в ту минуту она находилась не здесь, она была с давно умершим и все-таки живым ребенком, смотрела на него моими глазами, говорила с ним моим голосом, а мое присутствие было уже не важным.

– Не забывайте, вы теперь человек меченый, – сказал я, прощаясь и пожимая ей руку.

– А вы? – спросила она, улыбнувшись сквозь слезы, и снова икнула.

– Ну что вы – я только посредник, – ответил я, и на том мы расстались.

– Но вы были еще на Степной, виделись с женщиной? – нетерпеливо воскликнул поэт.

– Нет, не был. Но женщину видел, и вот при каких обстоятельствах. С тех пор прошло около трех лет. Однажды зимой, в самые Святки, захватила меня жгучая метель неподалеку от Старо-Никольского кладбища, которое, как вы знаете, уже лет тридцать закрыто для погребений. При кладбище имелась одноглавая, жалкая своим заброшенным видом, церквушка. С отвалившейся по фасаду штукатуркой, с дикой темно-зеленой краской купола и тем не менее всегда открытая для прихожан. Я решил зайти обогреться, а заодно поставить свечу всем святым. Вхожу, и что вы думаете? В церковной лавке за деревянной перегородкой вижу ее, эту самую женщину. Стоит в белой кофточке, черной юбке и черном, по-монашески повязанном платке. Стоит и продает прихожанам свечи, лампадки, крестики, рядом ящичек для пожертвований.. Она сильно изменилась, похудела и даже постарела внешне: черты ее поблекшего лица стали тонки и болезненны. Но зато как чудесны были ее темные библейские глаза, струившие тихий свет и смирение. Я было хотел подойти и поздороваться, поговорить, но, поразмыслив, решил не смущать ее, отступил в тень и незаметно покинул церковь.

– Но почему?! Почему вы не поговорили с ней, не расспросили?! – почти закричал поэт. И сокрушенно добавил: – Вы были обязаны к ней подойти!

– Кажется, пахнет грозой, – предупредил художник, кивая на юг, где весь горизонт вместе с полями и лесом, накрыла тенью гигантская черно-серебристая туча, озаряемая снизу блеском ветвистых молний, и уже погромыхивало. Внезапно все стихло, куда-то пропали птицы с их разноголосым щебетом, исчезли стрекозы, и лишь комары неустанно ныли в густой неподвижности воздуха, насквозь пропитанного терпкой духотой цветущих лугов.

Иван Романович открыл термос и налил себе квасу.

– А я не жалею, что поступил именно так, а не иначе, – сказал он невозмутимо и высоко поднял наполненную до краев кружку. – Послушайте, она себя обрела, нашла свой единственный путь, свое место, стала ближе и к сыну, и к Богу. И мне показалось тогда неприличным и даже жестоким напомнить ей о себе. Вы понимаете, о чем я? Ну вот и отлично. Теперь все, спасибо, что выслушали. Ваше здоровье, молодые люди!